# О символической образности в романе М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы»

Владислав Кривонос

г. Самара

Салтыкову-Щедрину присуще устойчивое использование архетипических образов и мотивов на всём протяжении его писательского пути – от “Губернских очерков” до “Сказок”. Существенна в этом плане близость его творческих установок самим принципам художественного мышления в фольклоре. Для “Господ Головлёвых” в высшей степени характерна особая органичность свойственного сатирику народного взгляда на явления действительности и поведение человека, “истинно народного миропонимания” 1.

Рассмотрим подробнее, как трансформируются в “Господах Головлёвых” архетипические образы и мотивы.

**ИУДУШКА-ЗМЕЙ.** Иудушка Головлёв не раз уподобляется в романе мифологическому образу змея, обладающего смертоносным взглядом. Арине Петровне этот “...пристально устремлённый на неё взгляд” казался “загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя: яд или сыновнюю почтительность”. Павел Владимирович “...ненавидел Иудушку и в то же время боялся его. Он знал, что глаза Иудушки источают чарующий яд, что голос его, словно змей, заползает в душу и парализует волю человека”. И в поведении, и в самом облике Иудушки подчёркивается нечеловеческое, делающее его чужим в мире людей, враждебным этому миру, несущим разрушение и смерть.

Скрытое сравнение Иудушки со змеем глубоко символично. В народных преданиях змей получал значение злого демона, чёрта. Змеи в качестве демонических существ служили воплощением хаоса. В той атмосфере хаоса и всеобщего разлада, которая в традициях народного миропонимания объяснялась действиями нечистой силы и которая характеризует в романе повседневное существование и угасание господ Головлёвых, только и могло в полной мере развернуться поистине демоническое злое начало, олицетворённое и во взгляде, и в речах, и в поступках Иудушки. Недаром вызывает он у своих соседушек “какой-то суеверный страх”. “Нет, дядя, не приеду! Страшно с вами!” – говорит Иудушке Аннинька.

**ИУДУШКА-САТАНА.** Возникает в романе и прямое уподобление головлёвского барина сатане: “Улитушке думалось, что она спит, и в сонном видении сам сатана предстал перед нею и разглагольствует”. Наделяя своего героя чертами злых демонических существ и даже сближая его с сатаной (но не оставляя ему ничего от мрачного величия мифологического образа носителя зла), Салтыков следовал существенной для народного сознания традиции изображения нечистой силы в человеческом облике. Нечеловеческое в герое изобличают его сатанинские по смыслу и содержанию рассуждения и поступки.

**ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО.** Как заколдованное (или “чёртово”) место, которому приписывалось в народном сознании обманное действие, место, где обитает нечистая сила, изображаются в романе головлёвские усадьба и барский дом. На Степана Владимирыча, возвращающегося домой, вид барской усадьбы “произвёл действие медузиной головы. Там чудился ему гроб”. В другом месте романа: “Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползают “умертвия””.

Головлёво показано как средоточие хаоса и разрушения. И с усадьбой, и с барским домом постоянно соединяется в романе представление о смерти и выморочности, о гибельном воздействии неподвластной человеку и угрожающей жизни злой силы: “Головлёво – это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подстерегающая новую жертву <...> Все смерти, все отравы, все язвы – всё идёт отсюда”. Здесь, в заколдованном месте, все без исключения персонажи идентифицируют себя с ним, тоже становясь “заколдованными”; потому-то они и позволяют морочить себя, занимаются самообманом, теряют нравственную ориентацию.

**ДОМ-АНТИДОМ.** В случае Головлёва речь не идёт даже о признаках дома, обеспечивающего человеку (согласно народным представлениям) приют и защиту, приспособленного к человеческой жизни и соответствующего её потребностям. Если в народном сознании существенна связь дома с живым (отсюда и символика дома в фольклоре), то в щедринском романе место, где обитает наделённый чертами злых демонических существ головлёвский барин, связано с нечеловеческим, мёртвым: “Чувствовалось что-то выморочное и в этом доме, и в этом человеке, что-то такое, что наводит невольный и суеверный страх”.

Отсюда устойчивая взаимозависимость барского дома (в действительности антидома) и населяющих его персонажей. Этот антидом предстаёт пространством особого типа; он воплощает в себе фальсифицированную реальность и подчёркивает заколдованное состояние его обитателей, существующих в несуществующем, то есть в пространстве зла.

**МРАК–ХОЛОД–НОЧЬ.** Изображая мертвенность самого головлёвского существования, Салтыков широко использует архетипические образы мрака, холода, ночи и тому подобные. И тогда, когда он рисует картины природы, и тогда, когда он описывает быт головлёвской усадьбы, писатель опирается на значимое для народных верований символическое противопоставление весенней жизни и зимнего омертвения, тепла и холода, света и тьмы. Господство мрака и холода, которые, по народным поверьям, творятся нечистою силой, символически выражает в романе обесчеловеченность головлёвского существования и пророчит неминуемую гибель (в народном сознании мрак и холод по значению тождественны смерти) головлёвского рода.

Устойчивым становится в романе архетипический образ зимнего омертвения, несущий идею враждебности живому всего того, что связано с головлёвским родом, с самим его существованием: “...земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном”, “...кругом во все стороны стлалась сиротливая снежная равнина”, “...окрестность, схваченная неоглядным снежным саваном, тихо цепенела” и так далее.

Существование господ Головлёвых враждебно свету, теплу, жизни; ему, как и нечистой силе, сопутствуют мрак, холод и смерть. Показывая это, Салтыков опирается на изобразительно-выразительные возможности архетипической символики. Погружается в “безрассветную мглу” Степан Владимирыч, утративший последние связи с реальностью. Господа Головлёвы день за днём утопают “в серой, зияющей бездне времени”, так что даже теряется представление о времени. В барском доме “мёртвая тишина ползёт из комнаты в комнату”. Иудушку охватывают “сумерки”, которым “предстояло сгущаться с каждым днём всё больше и больше”. Для Анниньки “и прежняя жизнь была сон, и теперешнее пробуждение – тоже сон”, “...ночь, вечная, бессменная ночь – ничего больше”.

Все эти упоминания о мгле, бездне, сумерках, сне, ночи усиливают впечатление мертвенности и указывают на отсутствие живого, что имело бы перспективу будущего, могло бы изменяться и обновляться. Используемые Салтыковым архетипические образы, находящиеся в прямом родстве с представлениями о смерти и хаосе, символизируют не только разрушение и гибель, но и нравственную пустоту головлёвского существования, характеризующегося неподвижностью и косностью, отсутствием каких-либо живых движений.

**ТЕНИ–ПРИЗРАКИ–ПРИВИДЕНИЯ.** Напротив, то, что лишено признаков живого, сохраняет здесь, подобно “мёртвой тишине”, способность движения. Больному Павлу Владимирычу чудится “целый рой теней. Ему кажется, что эти тени идут, идут, идут...” И Арине Петровне мерещатся “тени, колеблющиеся, беззвучно движущиеся”. Шевелятся и перемещаются только призраки и привидения (в таком смысле употреблялось в народных преданиях и поверьях слово тень); представители же головлёвского рода всё более и более впадают в состояние физической и нравственной неподвижности. Подчёркивая это, Салтыков тем самым показывает враждебность головлёвского существования этическим основам народной жизни и народного сознания, где понятие движения наделялось положительным нравственно-оценочным значением.

**МЕРТВЕЦЫ.** Символично, что обитатели Головлёва ещё при жизни напоминают мертвецов или ощущают себя внутренне мёртвыми. Таков “папенька”, “покрытый белым одеялом, в белом колпаке, весь белый, словно мертвец”. Анниньку мучит сознание, что, “в сущности, она уже умерла, и между тем внешние признаки жизни – налицо”. Наконец, на последних страницах романа возникает “мертвенно-бледная фигура Иудушки. Губы его дрожали; глаза ввалились и, при тусклом мерцании пальмовой свечи, казались как бы незрящими впадинами; руки были сложены ладонями внутрь”. Образы и мотивы смерти, хаоса, разрушения всюду сопровождают господ Головлёвых, подчёркивая исчерпанность их существования, обречённость и выморочность их жизненных принципов и житейских идеалов.

Обращение Салтыкова к архетипической традиции позволяет ему органично ввести в роман и народную нравственно-оценочную точку зрения на сложившиеся в головлёвском роду взаимоотношения. Именно в их изображении особенно заметны саморазрушение этого семейства, непоправимое искажение человеческой сущности в каждом из выведенных в романе его представителей.

**СВОИ–ЧУЖИЕ.** Место любви, издавна почитавшейся в народе основой прочных семейных (вообще родственных) связей (пословица недаром говорит: “Где любовь да совет, там и горя нет”), здесь занимает злоба, так что свои превращаются в чужих. Трагическая ирония звучит уже в самом названии глав: “Семейный суд”, “По-родственному”, “Семейные итоги”, “Племяннушка”, “Недозволенные семейные радости”. Ведь родственных чувств здесь никто друг к другу не испытывает.

Символическое значение (в существенном для романа контексте нравственных представлений) приобретает отношение Иудушки к матери (“Иуда! Предатель! Мать по миру пустил!” – обвиняет его умирающий Павел Владимирыч), к братьям, к сыну (“Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми; совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном...”).

Человек, ставший чужим даже для кровных родственников, оказывается обречённым на одиночество. Поэтому каждого из Головлёвых, так или иначе разрушающего родственные узы, ожидает в итоге “конец, полный тоски и безнадёжного одиночества”. Знаменательно, что на могиле бабушки “стоял простой белый крест, на котором даже надписи никакой не значилось”. Исчезает даже память о существовавшем родстве, о кровной связи ушедшего из мира с ныне ещё живущими.

**ПРЕДАТЕЛЬ.** Существование Иудушки оказывается лишённым какой-либо нравственной основы; он чужой в собственном роду, предатель. Но Иудушка отпадает не только от собственного, но и от человеческого рода: “Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир в его глазах есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия”. В этом плане ещё яснее становится смысл уподобления головлёвского барина злым демоническим существам, подчёркивание нечеловеческого, сатанинского в его облике. Нарушая этические правила рода, Иудушка, подобно мифологическим персонажам, теряет человеческий облик, превращается то в демоническое существо, то в невидимку, способного общаться с покойниками. Так Иудушка, подобно Иуде в славянской мифологии, сближается “с различными персонажами народной демонологии” 2.

**ИУДУШКА-ИУДА.** Параллель Иудушки Головлёва с таким евангельским персонажем, как Иуда, кажется исключительно значимой для щедринского романа. Поступок Иуды служит “вечной парадигмой отступничества, предательства” 3. Суть образа жизни Иудушки подчёркивается уже самим его прозвищем. Прозвище головлёвского барина не просто ассоциируется с евангельским рассказом, устанавливая связь героя с Иудой, но и прямо указывает на существо его характера и поступков.

В народном миропонимании прозвище могло играть роль характеристики человека, но могло и передавать веру в то, что человек и на самом деле равен своему прозвищу 4. В романе Салтыкова действует та же логика, что и в народном миропонимании: Иудушка – это и характеристика головлёвского барина, и его имя. В конце романа, когда Салтыков возвращает своему герою, переживающему “агонию раскаяния”, его подлинное имя – Порфирий Владимирыч, в самом факте смены имён, акцентируемой в авторской речи, подчёркивается возвращение (хотя и безнадёжно запоздавшее) героя к человеческому в себе, к своему собственному (появляется отчество, то есть восстанавливается связь с предками, с родными) и к человеческому роду.

На изменившееся в финале внутреннее состояние героя указывает и его обращение к племяннице (“Бедная ты! бедная ты моя!”), и разгоравшаяся в его сердце “жажда” “проститься” с “маменькой”, которую он “замучил”, и осознание факта гибели по его вине родных (“Зачем он один? зачем он видит кругом не только равнодушие, но и ненависть? Отчего всё, что ни прикасалось к нему, – всё погибло? Вот тут, в самом Головлёве, было когда-то человечье гнездо – каким образом случилось, что и пера не осталось от этого гнезда?”), и проснувшееся в нём впервые понимание страданий Искупителя.

**СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ.** В финале романа из существования, замкнутого отторгнутой от человеческого мира головлёвской усадьбой, совершается переход героя в бытие, где и происходят события евангельского рассказа, события Страстной недели: “Дело было в исходе марта, и Страстная неделя подходила к концу”. Евангельский рассказ, непосредственно вторгаясь в повседневное, наполненное предательствами существование Иудушки, заставляет героя, в уме которого зреет уже “идея о саморазрушении”, ощутить свою вину как перед ближними, так и перед дальними. То, что случилось в своё время с персонажами евангельской истории, Иудушке дано пережить заново – как событие, имеющее отношение к его биографической истории. Но умирает Иудушка в конце Страстной недели, то есть накануне Светлого Воскресения, что ставит под вопрос реальность его нравственного пробуждения.

Знаменательно, что перед тем, как принять наконец решение пойти на могилку к “маменьке проститься”, “Порфирий Владимирыч некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещённым лампадкой образом Искупителя в терновом венце и вглядывался в Него. Наконец он решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал своё решение, но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щёлкнул крючком, замыкавшим входную дверь”. Иудушка ощущает (другой вопрос, на который автор не даёт ответа, сознаёт он это или нет) свою причастность не только к собственному, но и к человеческому роду вообще, свою вину не только перед кровными родственниками, но и перед Тем, Кто всех простил. Предатель глядит здесь в лик преданного.

**ХРИСТОС-ИСТИНА.** Персонажи щедринского романа не являются носителями религиозного сознания и по образу жизни ближе к язычникам, чем к верующим. Веру подменил здесь мёртвый ритуал: “Каждогодно, накануне Великой пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стукался лбом о землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных Евангелий и всё-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Аннинька разбудила в нём сознание “умертвий”, он понял впервые, что в этом сказании речь идёт о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над Истиной...” Христос, как впервые понимает Иудушка, и есть Истина, Спаситель мира. Но ощущает ли он себя в одном ряду с гонителями Христа или совершает кощунственную самоидентификацию с Христом?

**ИУДУШКА-ХРИСТОС.** В “Господах Головлёвых” возникает неожиданная параллель, проводимая между Иудушкой и Христом.

Приведём важную цитату из романа: “Слышала, что за всенощной сегодня читали? – спросил он, когда она, наконец, затихла, – ах, какие это были страдания! Ведь только этакими страданиями и можно... И простил! всех навсегда простил! <...> Всех простил! – вслух говорил он сам с собою, – не только тех, которые тогда напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь, и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью... Ужасно! ах, это ужасно! <...> Надо меня простить! – продолжал он, – за всех... И за себя... и за тех, которых уж нет... Что такое! что такое сделалось?! – почти растерянно восклицал он, озираясь кругом, – где... все?..”

Анализируя финальные сцены романа, И.А.Есаулов категорично утверждает мысль о проявлениях здесь христоцентризма: “Прощение, несомненно состоявшееся в финале, имеет подчёркнуто новозаветный характер <...> Герой впервые попадает в ауру православной ментальности, только и позволяющей от “агонии раскаяния” за сутки до Христова Воскресения прийти к действительному, свершившемуся покаянию. Но оно невозможно без опоры на Христа, немыслимо вне Христа <...> Таким образом, мы видим уже состоявшееся – без слов – прощение героя” 5. Иное толкование смысла символического контраста Иудушки и Христа предлагает А.П.Ауэр: “...Христос, умирая, прощает всех, даже своих гонителей и мучителей, а вот Иудушка перед смертью умоляет всех простить его” 6.

Сравните с этим: “Неправильно считать, что Христос всегда всех миловал и прощал. Он бывал и грозным, и страшным, и приближение света было страшно мучительно для лжи и греха. Страх Божий – начало премудрости, начало покаяния, начало спасения” 7. Иудушке в финале не дано пережить этот Страх Божий, поэтому он готов снять с себя личную вину словами “что такое сделалось?!” и провалами памяти (“где... все?..”). Но простить Иудушку или нет – это уже выбор не только автора, но и читателя. Точнее, это тот выбор, который автор не навязывает, а предлагает сделать самому читателю.

**ПОКАЯНИЕ-ПРОБУЖДЕНИЕ.** “...Покаяние – вид пробуждения: “Встань, спящий, и воскресни из мёртвых. И осветит тебя Христос”” 8 (Ефес. 5, 14). Современный интерпретатор “Господ Головлёвых” убеждён: “Неверие в реальность “пробуждения совести” в этом герое равнозначно неверию в спасение всех других, неверию в милость Божию, обессмысливающему – в конечном итоге – и страдания Христа” 9.

Проверим это мнение цитатой из романа, позволяющей понять характер внутреннего поворота в герое и наличие у него воли к изменению и исцелению: “Прошлое до того выяснилось, что малейшее прикосновение к нему производило боль. Естественным последствием этого был не то испуг, не то пробуждение совести, скорее даже последнее, нежели первое <...> Такие пробуждения одичалой совести бывают необыкновенно мучительны. Лишённая воспитательного ухода, не видя никакого просвета впереди, совесть не даёт примирения, не указывает на возможность новой жизни, а только бесконечно и бесплодно терзает <...> Повторяю: совесть проснулась, но бесплодно”.

До недавнего времени общим местом, определявшим трактовку “пробуждения совести”, было представление об атеистических убеждениях Салтыкова, внимательного исключительно к нравственной стороне евангельской проповеди. В Салтыкове видели прежде всего моралиста, изображающего трагическую метаморфозу героя в финале для того, чтобы завершить суд над ним “моральным возмездием, но таким, которое содержит истинно великий катарсис, необходимое очищение античных трагедий” 10. В проблеске совести у Иудушки усматривался “лишь момент предсмертной агонии”, которая “исключает всякую возможность нравственного перерождения” 11, у героя, каким он показан в финале, нет “ни малейшей надежды на будущее возрождение, исцеление” 12. “Совесть” и “стыд” в трактовке Салтыкова “лишены примиряющего смысла. Наоборот, они воплощают идею нравственного возмездия, которое зло несёт в себе самом” 13. В финале в герое пробуждается не столько совесть, сколько “запоздалое ощущение собственной вины” 14.

Между тем финал романа давно уже побуждал исследователей к разнообразным ассоциациям с евангельскими текстами, позволяя утверждать, имея в виду неожиданное решение Иудушки, что “чудо воскресения коснулось и его, и ожила его душа, когда однажды вдумался он невольно в рассказ о Христе...” 15 Решая вопрос о виновности Иудушки, Салтыков не случайно стремится “включить этот образ в конце произведения в систему евангельской символики, сочетать его с мотивами вины перед всеми и искупления вины страданием” 16. “У целого ряда даже “неверующих” писателей Евангелие в жизни или творчестве играло существенную роль <...> У того же Салтыкова в романе “Господа Головлёвы” внезапное покаяние Иудушки происходит после воспоминания евангельского текста (вероятно, Лук.XXIII, 34–37)...” 17

В последнее время представление о “евангельском” финале “Господ Головлёвых” прочно вошло в обиход щедриноведения.

**ЖЕРТВА САТАНЕ.** И всё же не параллель предсмертных страданий Иудушки и Христа, а именно параллель предательства и несостоявшегося покаяния Иудушки и Иуды в “Господах Головлёвых” “осуществлена до конца. Щедринский Иудушка, подобно библейскому Иуде, покончил жизнь самоубийством” 18.

Самоуничтожение Иудушки проясняет смысл финала. “Каждый вечер он заставлял Анниньку повторять рассказ о Любинькиной смерти, и каждый вечер в уме его всё больше и больше созревала идея о саморазрушении <...> Одним словом, с какой стороны ни подойди, все расчёты с жизнью покончены. Жить и мучительно, и не нужно; всего нужнее было бы умереть; но беда в том, что смерть не идёт”. И далее: “Нет, ждать развязки от естественного хода вещей – слишком гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильною смутою. Есть такая развязка, есть. Он уже с месяц приглядывался к ней, и теперь, кажется, не проминёт. “В субботу приобщаться будем – надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить!” – вдруг мелькнуло в голове у него”.

Покаянию и искуплению своей вины Иудушка предпочитает расчёт с жизнью. В народных представлениях самоубийца предстаёт как “жертва сатане” 19. Согласно этим же представлениям, к самоубийству людей побуждает нечистая сила 20. С точки зрения религиозной, физическое самоубийство служит обнажением самоубийства духовного: “Будучи грехом противления жизни, самоубийство есть “убийство своей любви к Богу...”” 21 Сравните с этим: “Да, Господь силен простить и миллионы иуд, но лишь тех, которые “не ведают, что творят”, и не создают в себе самих геенны томления, а узнав, что сотворили, – каются великим “плачем сердца” перед Богом Спасителем” 22.

Обращаясь к евангельской архетипике, Салтыков опирается на то отношение к преступившим, которое сложилось в народном сознании 23. Добровольная смерть головлёвского барина не несёт примирения с ним, как и самоубийство Иуды не служит ему прощением за предательство Иисуса. Но смерть эта всё-таки возвращает Иудушку человеческому роду; отсюда скорбная интонация авторского голоса в финале, выражающая жалость к герою, погубившему себя несчастному человеку. Так смысловая многоплановость и проблематичность финала вновь обнаруживают ориентацию Салтыкова на существенные для него нормы народной этики, на народный нравственный опыт.

**Список литературы**

ПрозоровВ.В. М.Е.Салтыков-Щедрин // Русская литература и фольклор: Вторая половина XIXв. Л., 1982. С.90.

БеловаО.В. Иуда // Славянская мифология. М., 1995. С.217.

АверинцевС.С. Иуда Искариот // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2т. 2-е изд. М., 1987. Т.II. С.580.

См.: ЛотманЮ.М., УспенскийБ.А. Миф – имя – культура // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Т.VI. С.285.

ЕсауловИ.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. С.139–140.

АуэрА.П., БорисовЮ.Н. Поэтика символических и музыкальных образов М.Е.Салтыкова-Щедрина. Саратов, 1988. С.61.

ЕльчаниновА., свящ. Записи. М., 1996. С.41.

Жив Бог. Православный катехизис. М., 1991. С.360.

ЕсауловИ.А. Указ. соч. С.141.

МакашинС.А. Головлёвы: люди и призраки // Наследие революционных демократов и русская литература. Саратов, 1981. С.28.

БушминА.С. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.–Л., 1959. С.183–184.

ПокусаевЕ. “Господа Головлёвы” М.Е.Салтыкова-Щедрина. М., 1975. С.72.

ЖукА.А. Русская проза второй половины XIX века. М., 1981. С.218.

ПрозоровВ.В. Салтыков-Щедрин. М., 1988. С.131.

АйхенвальдЮ. Силуэты русских писателей. М., 1994. С.273.

ТамарченкоН.Д. Герой, сюжет и “образ мира” в “Господах Головлёвых” М.Е.Салтыкова-Щедрина // ТамарченкоН.Д. Целостность как проблема этики и формы в произведениях русских писателей XIX века. Кемерово, 1977. С.71.

ПлетнёвР.В. Достоевский и Евангелие // Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С.161. Ср.: “В русской литературе есть ещё одно свидетельство огромной силы Страстных богослужений. Это эпилог романа “Господа Головлёвы”” (МеньА., прот. Православное богослужение. Таинство, Слово и образ. М., 1991. С.90).

АуэрА.П. Три лекции о М.Е.Салтыкове-Щедрине. Коломна, 1993. С.16.

Русский демонологический словарь / Автор-составитель Т.А.Новичкова. СПб., 1995. С.491.

СлащевВ.В. Самоубийца // Славянская мифология. М., 1995. С.346–347.

Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский. Мысль о самоубийстве // Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский. Философия православного пастырства. СПб., 1996. С.428.

Там же. С.427.

Ср. народную корректировку евангельского рассказа об отречении Петра в написанном позднее “Господ Головлёвых” рассказе Чехова “Студент”.